Мандельштам О.

22.07.92

Филологический корпус

— Выступающие в «ЛГ» под рубрикой «Филологический корпус» обычно отвечают на вопрос: «Что читаете?» Так что же читает сегодня Игорь Леонидович Волгин?

— Позволите ли не упоминать периодику? Она влечет, как наркотик, и, как наркотик же, опустошает. Ибо чем больше ВЕРБАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ от текстов (порой блистательных), тем мучительнее их несовпадение с общим составом бытия. Впрочем, разлад между словом и делом — черта вполне национальная.

Читаю «Дневник» А. С. Суворина, красиво переизданный. Но вот что изумляет: это всего лишь буквальное воспроизведение издания 1923 года, которое, как известно, содержит массу неточностей. Оно, к тому же, весьма неполно. Между тем существует неизданный ПОЛНЫЙ текст: он расшифрован покойной Н. Роскиной (именно расшифрован: мне приходилось иметь дело с рукописями Суворина — поверьте, почерк у него был чудовищный). Эту «академическую» версию и следовало напечатать — с подробнейшими комментариями, разумеется. Но наш юный рынок — он, как повар Ноздрева: «катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет».

— И — традиционно: над чем работаете?

— Да все над тем же: над второй книгой документальной биографии Достоевского — «Политический процесс» (первый том — «Родиться в России» — вышел в этом году). Сюжет, кажется, актуален: робкая, я бы даже сказал, нежная попытка привить России социализм. Что заставило будущего автора «Бесов» ступить на этот путь? (Причины, надо полагать, были капитальные.) Почему почти сознательно влечется он к ошеломляющей жизненной катастрофе? Как ведет себя на следствии и на эшафоте?

«Политический процесс» — это не только дело петрашевцев, это ПРОЦЕСС всей русской исторической жизни. Трудность состоит в следующем: как соединить авторский голос с многоголосием ушедшей эпохи? Мне кажется, в мировом читательском сознании обозначилась мощная тяга к документалистике. Конечно, писатель имеет полное право «перевести» документ в собственное — художественное — измерение. Но не плодотворнее ли вступить с этим документом в прямой художественный диалог?

— Как нам известно, в седьмом номере журнала «Октябрь» будет опубликована ваша работа «Не удостоенные света (Булгаков и Мандельштам: опыт синхронизации)». Что это — попытка параллельного прочтения двух творческих биографий?

— Не только. Речь идет и о тех «странных сближениях», чья нечаянность так волновала Пушкина. Но в нечаянности тоже есть своя система. То, что Булгаков и Мандельштам жили какое-то время в одном доме в Нащокинском переулке, — в этом факте нет ничего исключительного. Но в силу общей сценарности жизни указанное обстоятельство обретает высокий духовный смысл. «Соседство» Булгакова и Мандельштама в литературе (кстати, почти неизученное) завершается трагической и, как думается, небесследной для той же литературы развязкой.

— Не хотели бы вы до выхода журнала познакомить читателей «ЛГ» с отрывком из этой работы?

— Я бы предпочел, чтобы подписчики «ЛГ» прочитали текст целиком (это около пяти печатных листов). Но давайте условимся так: я постараюсь выбрать для газеты несколько фрагментов — так сказать, обозначить сюжет. А читатель уж сам решит, как ему поступить далее.

Игорь ВОЛГИН

Дом в Нащокинском

Сказалась ли в «Мастере и Маргарите» судьба Осипа Мандельштама?

Квартирный вопрос в 1937 году

19 апреля 1937 года Елена Сергеевна Булгакова записывает в дневнике: «В мое отсутствие к М. А. заходила жена поэта Мандельштама. Он выслан, она в очень тяжелом положении, без работы».

Зачем заходила к Булгакову Надежда Яковлевна Мандельштам? Посвятила ли она его в свои домашние заботы? Во всяком случае, нельзя исключить, что Булгаков был в курсе соседских дел — он, для которого слово «квартира» всегда имело магический смысл.

Арест поэта в мае 1934 года не мог не вызвать известного волнения среди его профессионально чутких коллег. «Под нажимом писателей, — говорит Надежда Яковлевна, — наш комендант Мате Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади ссыльного старуху — мою мать — и использовать квартиру для настоящего советского писателя».

Это все тот же «квартирный вопрос», который, по тонкому наблюдению Воланда, испортил жителей столицы.

Хотя одна из двух комнат Мандельштамов была пока оставлена за Надеждой Яковлевной и ее матерью, их уплотнили: во второй комнате появился жилец, «вселенный к нам Союзом писателей под поручительство Ставского. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что он по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев»*.

Итак, в кооперативный писательский дом на чужую жилплощадь один из руководителей писательского союза вселяет некоего «писателя-генерала», который, как пишет Н. Я. Мандельштам, «пытался спланировать из органов в литературу».

Пока Мандельштамы пребывали в Воронеже, Костарев успел сменить свою временную прописку на постоянную. Более того, перед возвращением Мандельштамов он ухитряется выписать из квартиры законную хозяйку. Таким образом, вместе с мужем, лишенным отныне права жить в 70 городах Союза, теряла свою столичную прописку и не бывшая никогда судимой Н. Я. Мандельштам. Им приходится ютиться в проходной комнате, которую занимает мать Надежды Яковлевны. Их пребывание в Москве становится нелегальным.

Автор «Камня», разумеется, не был членом Союза писателей. Тем не менее он направился к Ставскому: куда ему было еще пойти? Ставский его не принял.

После того как припадок стенокардии укладывает Мандельштама в постель, Литфонд проявляет гуманность: «бывшего поэта» навещают врачи. Мандельштам пишет Ставскому: «...хочу жить и работать <...> Если не теперь — то когда?»

Но «жить» хочет и Костарев. Он приводит в квартиру монтера, который оказывается, как сказал бы Булгаков, сотрудником «одного учреждения». Следуют вызовы в милицию. В июне 1937 года Мандельштамы вынуждены покинуть Москву, где, с каждым днем набирая силу, неистовствует террор.

Теперь вновь обратимся к «закатному роману».

Кому надлежит отправиться во Владивосток?

Понковский (будущий Алоизий Могарыч) возникает в рукописных редакциях романа в 1934 году — очевидно, вскоре после ареста Мандельштама. Следует обратить внимание на деталь, отсутствующую в окончательном тексте: это то географическое пространство, где оказывается доносчик, будучи выброшен из столицы.

«— Квартира ваша таперича свободна, — ласково заговорил Коровьев, — гражданин Понковский уехали во Владивосток».

«Уехали во Владивосток...» Но почему, скажем, не в ту же Ялту, где однажды уже побывал, когда понадобилась его жилплощадь, «симпатичнейший» Степа Лиходеев? Владивосток, конечно, гораздо дальше: край, так сказать, света. Но если вспомнить, что Костарев, «писатель-дальневосточник», прибыл в Москву именно из этих краев, тогда выбор места для его «возвращения» может показаться совсем не случайным.

Увы, во Владивостоке окажется отнюдь не Понковский. Там, на Второй речке, окончит свои дни поэт Осип Мандельштам.

«Супруги Костыревы рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама, — пишет Надежда Яковлевна. — Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила», как выражалась Ахматова, что я отняла список и генерал не посмел пикнуть».

«Нашли за ванной...» Когда Мандельштама в мае 1934-го уводили из дома, ванна еще не работала и не был подключен газ. Не вдохновлялся ли Костарев в своем стремлении закрениться на чужой жилплощади еще и тем соображением, что в квартиру им уже вложены средства?

«— Я ванну пристроил, — стуча зубами кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, — одна побелка... купорос...

— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил, — одобрительно сказал Азазелло, — ему надо брать ванны, — и крикнул: — Вон!»

Надежда Яковлевна — не Маргарита. Вряд ли — при всем желании — была бы она способна вцепиться «в лицо Алоизия ногтями». Но и в ее душе пламенеет жажда мести — надежда, что некто, произнеся громовое: «Вон!», сумеет выбросить обидчика к чертовой матери.

«Как почти всем женщинам в моем положении, — пишет автор «Второй книги», — мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники — они явились в дом, навели порядок и, может даже, увели Костырева из украденной им квартиры». Правда, она тут же добавляет, что не хотела бы «иметь своих фашистов». Но кто же, спросили бы мы, откажется от услуг таких славных помощников, как Бегемот, Коровьев и Азазелло?

Напомним: автор «закатного романа» возвращается к теме доноса зимой 1940 года. Мандельштам уже мертв, его жена — выброшена из квартиры. Не отдавал ли смертельно больной Булгаков последний — соседский — долг уничтоженному поэту?

Разумеется, «рассказ о вселении Алоизия Могарыча в новую квартиру» мог основываться на многих подобных фактах. Донос из-за жилплощади — явление довольно распространенное, можно даже сказать, «типичное» для эпохи. Булгаков, однако, любит отталкиваться от конкретных фактов и обстоятельств.

Но гений постигает и то, о чем он не мог ни ведать, ни знать.

Свет иудиных окон

Недавно из «хронологической пыли» было извлечено письмо генерального секретаря Союза советских писателей Ставского народному комиссару внутренних дел Ежову. Именно этот документ послужил причиной возникновения второго «дела Мандельштама». В своем письме Ставский повторяет одно из тех обвинений, при помощи которых боролся с жильцами «своей» квартиры Костарев, — нарушение паспортного режима. Но это для Ставского мелочь. Гораздо существеннее в письме то, на чем сделаны профессионально безукоризненные акценты. Мандельштам — объект частного милосердия, его жалеют, из него делают «страдальца», «гениального поэта». В благоустроенном государстве не должно быть ни одиноких гениев, ни самозваных нищих.

Ставский пишет Ежову: «Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Общественное мнение — это святое. Но если в 1934 году Бухарин прибегает к подобному аргументу («Пастернак тоже волнуется», — напишет он Сталину), чтобы облегчить участь Мандельштама, то теперь, в 1938-м, Ставский при помощи аналогичной ссылки («в защиту его открыто выступили Валентин Катаев, И. Прут... выступили остро») пытается решить дело в смысле прямо противоположном.

Чем органы НКВД в силах помочь Союзу советских писателей? Автор письма догадывается, что их возможности велики. Нет, Ставский не требует немедленно арестовать автора «похабных стихов»: это вовсе не входит в его компетенцию. Он говорит с властью на языке цветов, на служебной фене, на жаргоне опытных эвфемистов. Он ждет от Николая Ивановича Ежова, как сказал бы Мандельштам, «услуги или вести». Но лучше — услуги.

Неисправимые романтики, мы полагали, что Сталин, словно охотник за дичью, зорко следил за опальным поэтом — как будто у него, Сталина, не было других забот. Все оказалось гораздо проще. Те, от кого поэт ожидал помощи и защиты, дружественными руками отдали его на закланье.

«В своем одичании и падении, — говорит Н. Я. Мандельштам, — писатели превосходят всех».

Письмо Ставского Ежову помечено 16 марта 1938 года. Ему предшествовало важное для Мандельштама событие. Ставский наконец «принял» О. М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой».

Мандельштамы прибыли в Саматиху, очевидно, 9 марта. Через неделю Ставский подпишет роковое письмо.

Не зря все-таки было сказано об «иудиных окнах» в Доме Герцена. Правда, Ставский сидел уже на Поварской (где союз помещается и поныне): эпитет, однако, оставался в силе.

«— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно».

И еще одно пророчество сбылось: «Все шло как по маслу, — говорит Надежда Яковлевна о первом дне их приезда в санаторий. — Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть». О чем, собственно, и было сказано в давних стихах: «На розвальнях, уложенных соломой...» И в других, тоже давних: «Как кони медленно ступают, /Как мало в фонарях огня! /Чужие люди, верно, знают, /Куда везут они меня».

«Чужие люди» знали это уже в тот день, когда Мандельштама принимал «начальник союза» и поэт вышел от него окрыленный.

Но только ли о возможной работе для Мандельштама шла речь в кабинете генерального секретаря ССП? Неужели поэт не поднял самую больную для него тему — о прописке, о возвращении на свою законную площадь? Ведь еще прошлым (1937-м) летом, строя планы обмена квартиры, Мандельштамы пришли к выводу: «спешить не надо — пусть Ставский раньше исполнит обещание и переселит Костырева». Неужели на этой с таким трудом полученной аудиенции Мандельштам не затронул «квартирный вопрос»?

«Переселять» Костарева Ставскому не было ни малейшего резона.

Костарев крайне заинтересован в устранении докучного соседа. И Ставский не может не порадеть родном человечку. Но не просить же официально железного сталинского наркома, чтобы он оградил товарища Костарева от притязаний какого-то Мандельштама? Уместнее сослаться на более солидный предлог: волнение в «части писательской среды». Тем более что подобное волнение действительно имело место.

Костарев — Ставский — Ежов: дернув за эту веревочку, погубишь поэта.

19 мая 1939 года, еще не зная о смерти мужа, Надежда Яковлевна направляет Л. П. Берии ходатайство о пересмотре дела. Она просит нового руководителя государственной безопасности «проверить, не было ли чьей-либо личной заинтересованности в этой ссылке». Она ничего не знает о письме Ставского. Ей достаточно Костарева.

Алоизий пишет донос: Мастера забирают. Через несколько месяцев его выпустят из тюрьмы. Но в его подвальчике уже будет жить Алоизий.

Костарев мог не волноваться: Мандельштама не выпустят никогда.

Ангелы смерти

«Второго» дела Мандельштама фактически нет. Есть письмо Ставского, формулировки которого повторены в обвинительном заключении. Мандельштам получил пять лет лагерей — исключительно для того, чтобы исчезнуть с глаз писательского начальства и не досаждать своему Алоизию.

«О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Не подозревавший о тех документах, какие ныне известны нам, Булгаков слишком хорошо изучил своих современников, писателей в том числе. Он знал, что, помимо тех хитроумных способов увеличения жилой площади, о которых Коровьев поведал изумленной Маргарите, существует еще один — простейший. Он догадывался, что людей испортил не только квартирный вопрос.

Но почему не обладающий никакими особыми заслугами «писатель-дальневосточник» получил жилплощадь и прописку «под поручительство Ставского»? Почему подобная милость излилась на скромного очеркиста?

«Глупый и по-своему жестокий человек Ставский», — скажет неплохо знавшая его Валерия Герасимова, первая жена Александра Фадеева. Так замыкается круг. Ибо Фадеев — тот, кто будет напутствовать Булгакова и Мандельштама на пороге смерти.

Осенью 1937 года, стараясь облегчить участь гонимого поэта, Катаев и Шкловский решают свести его с входящим в силу автором «Разгрома». Встреча происходит на квартире Катаева в Лаврушинском переулке (все в том же «Доме Драмлита»). «О. М. читал стихи, Фадеева проняло — он отличался чувствительностью...» — пишет Надежда Яковлевна.

Фадеев одним из последних видит Мандельштамов накануне их отъезда по дарованной Литфондом путевке в дом отдыха в Саматиху. Оттуда начнется путь на Вторую речку.

«Фадеев, — вспоминает Надежда Яковлевна, — вышел из машины и на прощание расцеловал О. М. По возвращении О. М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», — отвечал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева».

Тот, кто через несколько лет сменит Ставского на его посту, если и не знает о письме Ежову, то догадывается о многом. И не только в силу своего высокого положения, но и потому, что близко знаком с одним из участников драмы.

26 сентября 1921 года Фадеев писал своему школьному другу: «Здесь в Москве кое-кто из дальневосточников прибавился. Например, появился поэт Никола с супругой...»

«Поэт Никола» — это не кто иной, как будущий «жилец» Мандельштамов Николай Константинович Костарев. Он товарищ Фадеева по незабываемым партизанским походам. Они на «ты». И если партизанское братство чего-нибудь стоит, преуспевший Фадеев прямо-таки обязан поддержать неудачника Николу, которому за всю его творческую жизнь удалось выпустить в «Дешевой библиотеке» и «Библиотеке «Огонька» несколько тощих брошюрок. Тем более что и у того бывали светлые дни...

«Месяца через два, — продолжает свое письмо к другу будущий автор «Разгрома», — в первом Государственном театре РСФСР идет премьерой (открытие зимнего сезона) пьеса Костарева «Idée Fixe». Вот, брат, если можешь, — приезжай, то-то будет любопытно».

Фадеев — приятель Костарева. Возможно, он хотел помочь земляку с жильем, хлопотал за него перед Ставским. Это, конечно, не значит, что Фадеев как-то причастен к посланию Ставского Ежову. Но, повторяем, будущий генсек Союза писателей мог догадываться о многом. Он, говорит Н. Я. Мандельштам, «был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу». Когда через год придет весть о гибели Мандельштама, Фадеев, празднующий все в том же доме в Лаврушинском первые писательские награды, выпьет за его упокой: «Загубили большого поэта». Тепло отзовется он и о покойном Булгакове.

Впервые Фадеев посещает больного и малознакомого автора «Батума» 15 февраля 1940 года — скорее по служебной необходимости, нежели по личному чувству. Писательский союз должен был выказать заботу об одном из своих сочленов. «Разговор вел на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления, — записывает Елена Сергеевна. — Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит».

Булгакову, так никогда и не побывавшему за границей, обещано наконец Средиземное море. Ему остается жить менее месяца.

5 марта, за пять дней до смерти, Фадеев является вновь. По словам Елены Сергеевны, умирающий «подобрался, сколько мог». Это его последнее усилие — при последнем соприкосновении с властью.

Позже Еленой Сергеевной будут уточнены подробности:

«Булгаков, глядя невидящими глазами, сказал:

— Александр Александрович, я умираю. Если задумаете издавать — она все знает, все у нее...

Фадеев, своим высоким голосом, выговорил:

— Михаил Афанасьевич, Вы жили мужественно и умрете мужественно!

Слезы залили ему лицо, он выскочил в коридор и, забыв шапку, выбежал за дверь, загрохотал по ступеням...»

Фадеев, как сказано, отличался чувствительностью. Словно бледнолицый вестник смерти Абадонна, возникает он на исходе жизни Мандельштама и Булгакова, как бы знаменуя собой неотвратимость судьбы.

Его собственная, отчаянная и взывающая об искуплении, смерть тоже будет связана с человеком, который стал героем Булгакова и Мандельштама и чье имя они вынуждены были произносить в минуту гибели.

«Славь великодушного игемона! — торжественно шепнул он (палач. — И. В.) и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул:

— Игемон...»

Было угадано все: даже то, как «игемон» захочет убедиться в том, что смерть — была.

«Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам:

— Мертв».

С. Ермолинский вспоминает:

«...Зазвонил телефон. Подошел я. Говорили из Секретариата Сталина. (Звонок, ожидаемый десять лет! — И. В.) Голос спросил:

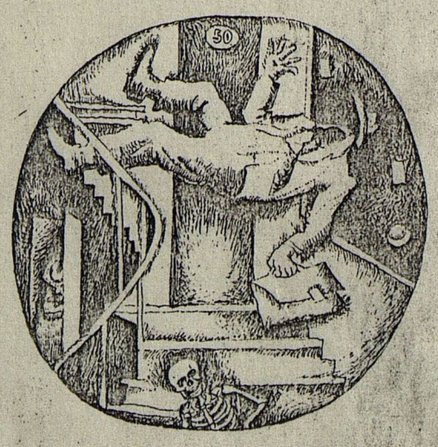
— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Тот, кто говорил со мной, положил трубку».

Смерть Мандельштама никаких удостоверений не требовала: в ней можно было не сомневаться.

* Настоящее имя — Костарев Николай Константинович. В цитатах мы придерживаемся написания Надежды Яковлевны, в остальных случаях ошибка исправлена. — И. В.



Иллюстрации художницы Ирины ШИПОВСКОЙ к «МАСТЕРУ И МАРГАРИТ